



# «Не уходи, тебя я умоляю...»

Старая пластинка дышала в полумраке чем-то далеким, несбыточным. В кресле, подсушенном временем, развалился громадный черный кот. Без примуса в лапах, зато с зелеными полтинниками-глазами, воинственными усами и пышным хвостом.

Мастер живет в Магадане.

В одной из песен, как сам он сказал — «колымского последнего периода», такие простые слова: «...Живу в квартире номер девять, переулок Школьный, со двора». Учтите, это поется голосом супертенора, а значит, так, что на справку адресного бюро не похоже. Мастера зовут Вадим Козин. Вспомнили? Те, кто постарше, это сделать еще сумеют. Всем остальным напрягать свою память, увы, бесполезно. А кота зовут Мосик. Но что он — не Бегемот же, а современный кот эпохи развитого социализма — может? Разве что оставаться самым преданным другом. Тем, который все понимает и хотя бы молчит.

Почувя угрозу в неизвестных пришельцах, он дыбит шерсть и шипит. Но, к счастью, мы не из жэка и даже не из горисполкома, деятели жилищной комиссии которого свято убеждены, что убогая малогабаритка вполне должна устраивать Мастера. «Всю жизнь пишет песни? Хорошо. Но ведь не член Союза композиторов?» (Им невдомек, что, когда его славе позавидовала бы сегодняшняя любая рок-звезда, союза такого просто не существовало.) Впрочем, с убийственными аргументами Мастер смирился давно. Ему 87, и спорить с властью, он знает, если и не бесполезно порой, то часто небезопасно.

Постоять за Мастера в городе некому. Ни здесь, в Магадане, ни там, в далеком позабытом почти Петербурге, где встречал вместе с веком зарю. Ни в Москве, где поклонников было когда-то поболее, чем у Шульженко и Утесова. Колонный зал, Зеленый театр, Эрмитаж... Передовая на фронте. Концерты зимой первого года войны. Последний он встретит на Колыме. И орден Красной Звезды за личное мужество, проявленное на концертах под пулями, не сумеет надеть в памятном мае. Он неохотно вспоминает о тех временах, когда легкомысленно верилось в ошеломительный успех и надежность славы. О, святая наивность! Нечто было так близко.

— Вы Берию знаете? — спросил он в упор.

Я вздрогнул:

— В каком смысле?

— Понятно, не в том... Возраст ваш... Повезло... — Он надолго задумался. Но свистнул на кухне чайник, и с легкостью шансонье, неподвластного времени, он принялся угощать чаем. На столе появились конфеты, печенье, что-то еще... На мгновение замер, потом улыбнулся и голосом, не терпящим возражений, обратился, кивнув на буфет:

— Добавьте к столу, пожалуйста, рюмки. — Сам достал бутылку армянского: — Сто лет пылилась, давно без гостей.

Выпили по капельке. Старик разволновался. Про Берию больше решил не спрашивать. Но он неожиданно начал сам:

— Так вот, Берия. Бывал на моих концертах, хвалил. Впрочем, не только он... Но именно Берия вызвал меня в кабинет, там еще сидел Щербаков. Зашел я беспечным... «Вадим, — сказал Берия, — ты имеешь такое влияние на публику. Почему же у тебя нет песни

о Сталине?» Говорил, улыбался, очками призывно сверкал. Шутит, думаю. Одно дело исполнить со сцены «Колечки бирюзовые», «Прочь печаль», «Шел отряд», к примеру. Но Сталин, да еще в моем репертуаре... И не думал об этом, даже смешно. Так и объяснил: «У меня, Лаврентий Павлович, голос не тот. Я же тенор. Невозможно никак». «А о Ленине ты поешь», — глуховато напомнил тут Щербаков. Действительно, у меня была одна песня. На слова Демьяна Бедного, ну того, что Придворов на самом деле. Мы же родственники. Моя сестра, двоюродная, была замужем за его сыном. Демьян предложил как-то попробовать, я напел на его стихи... Слова, помню, были: «День тихий, страна еще не знала...» В общем, обычный день, а «...на Волге Ленин родился». Я эту песню исполнил всего пару раз и сейчас, сказать честно, всех слов не помню. Но тогда Щербаков говорит: «Значит, о Сталине так и невозможно?» «Невозможно», — ответил я, пожалуй, излишне твердо. Они переглянулись, и Берия говорит: «Хорошо, Вадим, иди». А месяца через три меня пригласили — именно пригласили — «на часок» в НКВД. Сразу угодил на Особое совещание. Судили трое. Всего полминуты. И как влепят восемь лет лагерей. Я им: недоразумение, разрешите Лаврентию Павловичу позвонить и все такое. «Вам мало неприятностей — звоните, — отрезал старший. — С вами, Козин, и так по-человечески обошлись». И правда, ведь меня тут же никто не хватал, в камеру не волок. Сказали спокойно: «Идите домой, собирайтесь. Агент наш зайдет...»

Он зашел в тот же вечер. Был 43-й год. Так я оказался на Колыме.

Чай остыл, крохотные рюмки в руках накалились.

...Козин пропал. И о нем пошли по стране гулять слухи. Мол, к женщинам равнодушен и прочий в связи с этим бред. Кстати, о многих «служителях муз, враждовавших с народом» эти сплетни распространялись умышленно. Чуть позже Козин сам скажет: «О своих женщинах я говорить не буду. Но женат не был. Молодость, знаете ли...»

За столом сидел вроде старик. В валенках, теплых брюках, свитере, хотя не зябко. Но он в валенках и летом по улице ходит. Чудак? Не совсем. Магаданское лето, забудем пока о зиме, коварно. С утра может тепло, а к вечеру снег реален. А ветер, которым особо колюче Охотское море? Я представляю его зимой 43-го в лагере. Многие, это мы теперь знаем, умирали только от непривычных морозов с тем «ветерком».

— Да мне во всем повезло, — продолжил Вадим Алексеевич. — В лагере я был сразу расконвоирован. То ли указание свыше имелось, но скорее всего дело в начальстве ближайшем. У всех офицеров кипы моих пластинок. Они слушали эти песни глухими ночами до слез. А тут я к ним свалился собственной, можно сказать, персоной. Свою радость начальник лагеря от меня не скрывал. В бараке я лишь ночевал. А так ходить мог куда захочу. На сталинской Колыме дураку было ясно — куда очень хочется, не дойдешь.

Из артистов сколотили бригаду. За старшего был Варпаховский, бывший главреж МХАТа. Ездили по всей Колыме, выступали...

«Не уходи, тебя я умоляю. Слова любви стократ я повторяю...»

Пела старая пластинка молодым голосом Мастера. Что-то поскрипывало и трещало. Фон времени или игла дешевого проигрывателя ни к черту? И то, наверное, и другое.

— В свое время я этот романс записал, как и большинство песен, на «целлулоид» — недолговечный, увы, но единственный тогда материал пластинок, — как бы извиняясь, сказал Козин.

Его время — это 38-й год. С техникой, понятно, не очень. Однако американцы, выпуская свои пластинки, переписывая кое-что с козинских старых, как-то умудрились не просто убрать все помехи, но и громовые раскаты аплодисментов, когда запись велась прямо на концерте. Пели тогда без микрофонов и оглушительных усилителей. Может, и к лучшему: сразу было слышно певца...

Не дослушав до конца, автор меняет пластинку.

— Как вам эта? «Прощай, мой табор». У меня много цыганских песен. Почему? Смешно! У меня же мама цыганка! А Варю Панину помните? Да, да, понимаю, откуда? Двоюродная бабушка моя...

Года через три ему сказали: «Вадим, ты свободен. Но остаешься здесь на вечное поселение». И только после смерти Сталина разрешили вернуться домой.

А ему расхотелось. Потом, наверное, не раз он задаст сам себе этот вопрос: почему? Но ни разу — и до сих пор! — логичного ответа от себя не получит. Возвращаться — значит, простили? А что прощать?

За те годы ему не вручили ни одной розы. Да что там, ни одного цветка полевого. Хорошо еще не голодал. Лишняя пайка хлеба была высшим признанием. Лучшим аплодисментом, овацией, наслаждением...

Из забвения лучший выход — не возвращаться.

Вот так и живет. Пенсия — 120. На сливки и рыбу — коту — хватает. Сам что ест, то и ест. Хуже, когда подступают болезни и за сливками, рыбой и хлебом добаться просто невмозготу. Не будешь же каждый раз звонить Жене Саночкину, журналисту с местного радио. Он, конечно, примчится немедленно, все сделает, купит и, чем сможет, поможет. «Только мне, право, неловко». Тимуровец этакий пятидесяти с лишком лет.

Но он не в обиде. «В мое время обижали горше». И счастлив почти, как в дни бенефиса, если слышит по радио свои песни. Кобзон поет их с удовольствием, Лещенко. «Искажают, правда, бессовестно. Ну да... Разве что Алла Баянова прислала письмо, попросила разрешения то-то и то-то включить в свой репертуар. Кто против? Она такт имеет. Я ее за это люблю».

Но это певцы все сплошь заслуженные, при званиях, чего о Мастере сказать нельзя — официально всемирно известный артист у нас государством никак не отмечен. У певцов занятость. Что же тогда говорить о фирме «Мелодия», досточтимом нашем монополисте грамзаписи? Словно очнувшись от долгого сна, вспомнили наконец о Мастере. И выпустили в 88-м году пластинку — из престарелого-старого. И как подобран репертуар! Козин решительно против. «Мне даже не позвонили. А ведь у меня новых записей — целый угол. Килограммы. Они решили, наверное, я умер».

Килограммы, если не центнер, уни-

кальных магнитофонных записей Мастера я видел на кухне. Больше хранить их негде. Вот и громоздится превеликая куча рядом с плитой и ветхой форточкой.

А он жив! И прост его адрес: Магадан, певцу Козину. Доходит любое письмо. Проверено многократно нашими современниками. Из Нью-Йорка письма доходят. Кстати, американцы недавно выпустили четвертый подряд диск Мастера. Он так и называется «Привет из Магадана». И песни там его — новые. Где они взяли записи? Ведь в Магадан до последнего времени иностранцы приехать никак не могли. Загадка. Из Америки пластинки привозят в Союз...

Мастер бережно достал толстую пачку писем. Каждый конверт перетянут розовой лентой. Шестьсот таких писем — с ленточкой. Только за четыре последних года. Автор — Люся, москвичка, поклонница. «Я писал уже ей, зачем на меня тратите время? Да и денег стоят такие послания. А она мне ответила: «Считаю, так нужно, и прошу вас не беспокоиться».

Я протянул было руку к завязанному конвертам, но Козин в этом случае хлебосольство прервал, спрятал письма подальше. «Личное. Понимаете, личное».

— Лучше спую, — сказал он и поднял крышку старенького пианино.

«Не уходи, тебя я умоляю...»

**Михаил Сердюков.**  
Магадан.  
Фото автора.